

ПРОЛОГ

Володик доказал мне, какой это чудовищный эгоизм — застрелиться. Для себя-то это, конечно, проще всего...

ЛИЛЯ БРИК

Сентябрь 1917 г. Санкт-Петербург



Ирина, кого ты привела? Что это за тип? Что за нелепое знакомство, он похож на ломового извозчика, к тому же наверняка большевик! — взволнованно шептал Владимир Карлович на ухо своей легкомысленной дочери, удерживая ее за локоток в прихожей.

— Ну, разумеется, большевик! — фыркнула та, окидывая родителя полным независимого превосходства взглядом. — А вы кого бы желали видеть, члена императорской фамилии?

— Ирина! — захлебываясь возмущением, шепотом воскликнул Владимир Карлович.

— Успокойся, папа, он не большевик. Он художник, футурист, к тому же поэт, а форма — это так, временное. Он служит в автомобильной школе, по-моему, очень современно. И вообще, он очень инте-

ресный человек, сильный, открытый, смелый, он как глоток свежего ветра, не то что твои крысopodobные знакомые, шушукуются по углам, трясутся, так что из них пыль веков сыплется.

— Ирина, мои знакомые достойные люди, заслуженные, из приличных фамилий, а то, что сейчас честным людям жить стало страшно, так то не их вина! А впрочем, — тут же потухая, вяло проговорил Владимир Карлович, — пойдём в гостиную, а то твой гость наверняка заскучал. Да и мама, наверное, растеряна.

Громоздкий молодой человек с мощной челюстью и громким голосом плохо вписывался в обставленную фамильным кленовым гарнитуром столовую. Не гармонировал он с тонкой вязью золотых ирисов на темно-зеленых обоях, с изящной сервировкой стола и хозяевами квартиры, старомодно чопорными, тихими и невыразительными супругами, бароном Владимиром Карловичем Гоггерном и его женой Натальей Романовой.

Обед проходил в натянутой обстановке, вызывая у хозяев чувство неловкости. Впрочем, неловко себя чувствовало исключительно старшее поколение, дочь хозяев Ирина Владимировна, бойкая короткостриженная девица, с вытянутым, как у отца, лицом и светлыми прозрачно-голубыми глазами, ее кузина Эльза Оттовна и гость вели себя исключительно раскованно и свободно.

Молодой человек с аппетитом закусывал, презрительно поглядывая по сторонам, говорил громко, уверенно, не стесняясь собственных оригинальных, а скорее, даже вызывающих суждений.

Девушки его во всем поддерживали и так же высокомерно и снисходительно реагировали на редкие реплики и замечания Владимира Карловича и его супруги.

— Вы совершенно правы, Владимир Владимирович, — громко восклицала Ирина Владимировна, косясь на отца. — Пушкин и Лермонтов — это все уже устарело, нужны новые формы, яркие, выразительные, созвучные времени, и мне кажется, сейчас появляется очень много талантливых молодых людей. Вет какой-то свежестью, новизной. А как вам нравится Ахматова? Цветаева? Гумилев, Волошин? А Блок? Разве не прелесть? Хотя и они уже не так новы, а вот Сергей Есенин? Что вы думаете о Есенине?

— Этот имажинист в лаптях и рубахе? Да видали вы когда-нибудь что-то более нелепое? Это же шут гороховый! — фыркнул очередной раз, взмахнув огромной ручищей, гость. — А впрочем, парень талантливый, если из этих карикатурных «мужичков» кто и оставит свой след в искусстве, то уж он. Хотя, конечно, все эти березки-елочки... не про революцию все это, не про то, что за окном грохочет. Вяло, сладко, аж до приторности.

Громоздкий молодой человек был не глуп, образован, но при этом как-то неприлично громок, неуклюж и резок. Суждения его были вызывающе независимы, насмешливо оскорбительны, а его солдатская форма и грубоватые манеры неуместны в степенной респектабельной столовой барона. Супруга Владимира Карловича, тихая, кроткая Наталья Романовна, с немым ужасом смотрела то на дочь, то на гостя. Он виделся ей кем-то вроде людоеда с далеких тропических островов.

Она то и дело испуганно вздрагивала, когда гость взмахивал зажатым в могучем кулачище ножом, словно боялась, что он того и гляди кинется на них. Жестикулировал гость размашисто и, казалось, заполнял собой всю комнату.

А вот Ирина Владимировна смотрела на гостя с восторгом, впрочем, и в ее восторге было что-то неприличное, смотрела она на него как на заморского зверя или циркового уродца, чем вызывала брезгливое неодобрение отца.

Увлечение дочери всяким сбродом не сулило ничего хорошего. А впрочем, чего хорошего можно теперь ожидать в этом обезумевшем мире?

Барон тяжело вздохнул и неодобрительно взглянул на гостя, хвастливо обещавшего вырубить свое имя на скрижалях истории, и в этот момент в нем вдруг загорелась мстительная идея, а не помочь ли?

Барон нехорошо улыбнулся и внимательнее всмотрелся в молодого человека. А может, не стоит? Что ни говори, а все же из приличной семьи, гимназию окончил... семью имеет... мать, сестер...

В этот момент молодой человек весьма уместно и безапелляционно заявил, что всю труху, всех этих капиталовладельцев, всех буржуйско-купеческих кровососов и родовитых маразматиков с потомством революционные массы сметут с лица земли, вырастив на их месте нового свободного человека, гиганта мысли и духа.

Барон почувствовал некий зуд в руках и желание придушить этого нелепого, недалекого, безоглядного вершителя судеб. Да уж, куда там!

«Придется все же помочь... со скрижалями», — злорадно усмехнулся про себя барон.

— Что ж, — поднимаясь из-за стола, решительно перебил гостя Владимир Карлович, — я думаю, чаю можно будет выпить чуть позже. А пока я бы хотел показать нашему гостю кое-что из наследия той самой трухи, о которой скоро никто и не вспомнит, — суетливо потирая руки, с мягкой любезностью произнес хозяин дома. — Ирина, помоги маме накрыть на стол. А мы с вами, сударь, ненадолго отлучимся. — И крепко ухватив молодого человека за локоть, повлек его за собой.

Молодой человек состроил скусливую мину, но подчинился.

— Сюда, в мой кабинет, — любезно распахивая перед гостем двери, проговорил барон, и Владимир шагнул в плотно заставленную мебелью, заваленную бумагами, раскрытыми книгами и какими-то чертежами комнату. — Простите за беспорядок, это следствие моей увлеченности, знаете, как бывает, начнешь читать книгу, придет в голову какая-то идея. Спешешь ее проверить, хватаешься за новый том, старый откладываешь тут же в сторону, в надежде дочитать начатое через несколько минут, забываешь, потом в голову приходит новая идея или рождается вопрос, спешешь их проверить, и вот ты уже окружен, — барон обвел рукой кабинет, — целыми Гималаями фолиантов. И что ужасно? Рука не поднимается поставить их обратно на полки, ведь тогда забудешь, что хотел прочитать, и уже никогда не вспомнишь, и мысль потеряешь, и идею. Вот так и живу. — Он

смущенно улыбнулся: — А вы проходите, присаживайтесь, вот хоть сюда, в это кресло. Эти чертежи как раз можно уже выкинуть. Хлам.

И барон без церемоний сгреб на пол целую кипу бумаг.

— Садитесь. Сейчас я достану наше семейное сокровище. — И взгляд его впервые со времени их знакомства оживился, осветив лицо барона и придав ему выражение некоего остроумного лукавства.

Барон, повернувшись к гостю спиной, поколдовал возле старинного бюро, пузатого, покрытого затейливой инкрустацией, с бронзовыми финтифлюшками, затем, щелкнув несколькими ящичками, повозившись минуты две, заботливо прикрывая бюро спиной, повернулся к гостю, держа в руке небольшую шкатулочку.

Молча подошел к столу, достал из жилетного кармашка ключик на цепочке, отпер шкатулку и извлек оттуда другую коробочку, обтянутую потертым бархатом, с потемневшим от времени серебряным вензелем на крышке.

— Взгляните, молодой человек, — протягивая гостю футляр, таинственно понизив голос, предложил барон и откинул крышечку.

Внутри коробочка была металлической, вероятно, серебряной, и на зеркальной полированной поверхности сиял невероятным живым теплым светом язычок пламени. Нет, нет. Не пламени, так показалось Владимиру вначале. Это был камень. Да, камень. А ощущение живого пламени, очевидно, создавалось игрой света на полированной поверхности шкатулки.

— *Что это?* — без особого любопытства спросил Володя, глядя на непонятную вещь. — *Какой-то рубин?*

— *Эта вещица хранится в нашем семействе столетия, — глядя пристально на молодого человека, пояснил барон. — Еще со времен Каролингов, а может, и раньше.*

Камень как-то особенно ярко полыхнул, словно вспыхнул. Владимир невольно прищурился, подозрительно нахмурил брови.

— *И что это за фокус? В днище шкатулки керосин налит?*

— *Ну что вы! За кого вы меня принимаете, — вскинул голову барон. — Это священное пламя.*

— *Небесный огонь?* — *вновь теряя интерес, с смешкой спросил Владимир. — Должно быть, ваши предки были католическими шарлатанами, что дурили простой люд дешевыми чудесами? Может, еще и палец в шкатулку совали, чтобы доказать, что огонь настоящий?* — *небрежно спросил Володя, тщеславие этих замшелых аристократов его бесило. — В наш век такими балаганными фокусами уже никого не впечатлишь. — От его неприкрытого пренебрежения и откровенной прямолинейной грубости барона передернуло, но он стерпел.*

— *Ни в коем случае! Это пламя не касалось никого из представителей нашего рода. И это не просто огонек. Это пламя Прометея!* — *тихим торжествующим голосом сообщил барон, и темные, обычно неживые его глаза неожиданно сверкнули. — Вы же знакомы с греческой мифологией?*

— Разумеется, — сухо ответил Володя, теряя всякий интерес к древности.

Пламя Прометея! Пф!

— Прометей подарил людям божественный огонь, огонь, который вывел их из животного состояния и помог стать подобным богам. Этот огонь пробудил в них жажду знаний, стремление к совершенству, понимание красоты и способность к творчеству. Этот огонь — божественное вдохновение, превращающее обычного человека в великого творца. Вспыхивая внутри человека, он освещает все его существо и помогает видеть мир ярче, отчетливее, дарит такой прилив творческих сил и энергии, какой позволяет создать бессмертные творения, сияющие в веках! И не важно, что это, музыка, танец, живопись или поэзия. Правда, у всего в этом мире есть цена, тем более у вдохновения.

Владимир прикрыл ладошкой зевок.

— Я уже говорил, что никто из нашего рода не был истинным обладателем этой святыни, но время от времени, очень редко, мы делимся им, одалживаем его, — продолжал барон, проигнорировав поведение молодого гостя. — Например, последним истинным обладателем пламени был некий молодой человек, наш с вами соотечественник. Его звезда засияла чуть меньше ста лет назад. Это был пылкий талантливый юноша, весьма одаренный. Мой прадед был очарован им и, поддавшись душевному порыву, подарил юноше, а точнее, одолжил сию реликвию. Увы, юноша быстро сгорел, ибо огонь такой силы не может долго пылать в груди смертного.

— *Может, озвучите имя этого дарования? — скептически попросил Владимир.*

— *Пожалуйста. Михаил Юрьевич...*

— *На Лермонтова намекаете?*

— *Ну что вы, никаких намеков. Сей пламень мой прадед, по случаю находившийся в Пятигорске, снял с остывшей груди молодого человека. После смерти своего, скажем так, носителя огонь словно проступает на коже, выходит наружу, и его можно забрать, главное, не касаться его. Впрочем, это ненужные детали.*

Владимир внимательно взгляделся в лицо барона. Оно было лишено какого-либо намека на шутейность. Напротив, барон рассматривал заключенное в камень маленькое пламя с выражением глубокой задумчивости, словно полностью забыв о госте.

— *А раньше, много раньше, — бормотал барон, — был другой юноша, тоже невероятно одаренный. Практически отрок... Ах, что это было за чудо! Солнечный талант, яркий, ослепительный... — И барон едва слышно напел несколько музыкальных фраз.*

— *На Моцарта намекаете?*

— *Я же сказал, молодой человек, что эта реликвия принадлежит нам со времен Каролингов. Но за все время владения этой вещью лишь несколько раз она передавалась в руки посторонних и каждый раз возвращалась назад, к законным владельцам. А кстати, не желаете ли взглянуть поближе? — внезапно оживившись, предложил барон, протягивая гостю футляр. И лицо его вновь озарилось мгновенной вспышкой, высветив глубокие морщины и снова заставив вздрогнуть Владимира.*

Барону все же удалось разбудить его любопытство, и Владимир, низко наклонившись над футляром, взгляделся в сверкающее холодными лунными бликами серебро шкатулки и яркий слепящий свет единственного язычка пламени, трепыхавшегося в центре, теперь оно казалось свободным, не скованным гранями камня. Владимир протянул руку, чтобы ощутить его тепло и реальность, и оно вдруг потянулось к нему, словно живое.

— Не бойтесь, оно не обжигает руки, можете дотронуться до края шкатулки, не стесняйтесь, — ободрил его барон, заметив, как дрогнула рука гостя, и на худом лице его словно тень промелькнуло выражение неприятной глумливой угодливости.

Владимир дернул независимо плечом и опустил кончики пальцев в шкатулку, ухватив сияющий камень, и тут же пламя скользнуло к нему на ладонь, словно живое, оно ластилось к коже, согревая ее, и словно таяло.

К удивлению и испугу Владимира, теплое сияние живого огня буквально впиталось в его ладонь, освещая теперь ее изнутри, делая прозрачной, освещая желто-оранжевым светом мельчайшие складки кожи и кровеносные сосуды, он даже остановился на вздохе, затаив дыхание. А камень, напротив, погас. Он стал скучным, прохладным, чуть больше пятака... обыкновенный турмалин, очень бледный.

— Я... я не понимаю, я... еще один фокус?.. — разглядывая ладонь, спросил Владимир.

— Поздравляю вас, молодой человек, теперь в вас пылает великий огонь Прометея, скоро он доберется до вашего сердца, и тогда мы будем вправе ожидать

от вас поистине великих творений! — восторженно воскликнул барон, но восторженность эта была с привкусом какого-то иезуитского вероломства.

Впрочем, когда Владимир смог оторвать взгляд от своей ладони, в облике барона уже не было заметно ничего пугающего, он был обыденно уныл и скучен, а глаза его были мертвы и невыразительны.

— *Возьмите этот камень на память об уходящем мире и обо мне. Вот, цепочка, советую носить камень на шее, не снимая, — опуская в руку Владимира простую, потемневшую от времени цепочку, посоветовал барон.*

Владимир взглянул на камень и только сейчас заметил, что он оправлен тонкой золотой линией, наподобие подвески.

— *А теперь идемте, нас заждались, — нетерпеливо подтолкнул его к дверям барон.*

И еще долго потом в последующие дни и недели Владимир вспоминал это происшествие, разглядывая камень, и все меньше верил в реальность случившегося, виня во всем глупую чувствительность и буйную фантазию, которые сделали его легкой добычей старого злобного шутника, пожелавшего превратить его во всеобщее посмешище.

14 апреля 1930 г. Москва

Владимир оторвал взгляд от женщины, так беспомощно сложившей в мольбе руки, лепетавшей бессвязные уверения, и взглянул в окно, там за прозрачной гладью стекла синело глубокое апрельское небо, там орали как полоумные воробьи и хорошенькие прина-

раженные гражданки постукивали каблучками по тротуару, неслись, громыхая железом, авто, неспешно тащилась вдоль тротуара сонная кляча с телегой, клубилась вдоль тротуаров прозрачная дымка пыли.

Он потер сердце и, обернувшись к своей гостье, вцепился ей в руки.

Она была его спасением, ее молодость, свежесть были для него как прохлада ручья для утомленного зноем и жаждой путника. Как глоток живительной свежей влаги, который поможет утолить тот пламень, что сжигал его изнутри. Он не мог с ним больше справляться, он боялся остаться один, боялся, что не удержит его и пламя вырвется наружу, сметая все на пути, превратится в огненный смерч, чей вихрь сметет этот дом, улицу, город.

Владимир больше не мог удерживать его. Он устал, у него нет больше сил. Пламя уже не дарило вдохновения, не делало жизнь ярче, острее, оно просто пожирало его.

— Норкочка! Я умоляю, я требую, немедленно бросайте театр! Я ненавижу его, он вам не нужен! — со страстью отчаяния восклицал Владимир у ног этой хорошенькой потерянной девочки. — Вы остаетесь со мной сейчас, немедленно! Я больше не отпущу вас, вы останетесь здесь со мной, и точка! Я немедленно еду в театр, я скажу им, что вы не вернетесь, я куплю вам все необходимое, я поговорю с вашим мужем!

— Боже мой, как вы не понимаете? Так нельзя, он хороший человек, я не могу так, я должна сама... И театр... разве я могу его бросить? Я буду вашей сегодня же, но театр? Нет, так нельзя... — снова горя-

чо говорила она, сжимая его ладони своими маленькими слабыми пальчиками.

Эти разговоры, эти пустые слова... Они говорили так уже долго, часы, дни, и каждый раз она уходила, они ссорились, мирились, он терял силы, надежду...

Ах, что может сделать, что может поправить эта девочка? Это обман, обман отчаявшегося человека.

Он снова потер грудь и с горечью воскликнул:

— Ах, так! Ну, тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту.

— Мне еще рано, я могу остаться ненадолго.

— Нет, нет, уходи сейчас же. — Ему надо остаться одному, так будет лучше, легче. Пора с этим закончить.

— Но я увижу тебя сегодня? — пытаюсь поймать его взгляд, дрожащим голосом спрашивала женщина.

— Не знаю. — Нестерпимо больно!

— Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в пять?

— Да, да, да.

— Что же, ты не проводишь меня даже?

Наконец он смог взять себя в руки, ему удалось унять жар, ненадолго, на мгновения, минуты.

Он подошел к ней, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково:

— Нет, девочка, иди одна... Будь за меня спокойна...

Улыбнулся и добавил:

— Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?

— Нет.

Достал кошелек, дал двадцать рублей.

— Так ты позвонишь?

— Да, да.

Хлопнула дверь, раздался стук легких каблучков за дверью.

Холодная тяжесть металла скользнула в ладонь. Все чаще в последние дни он брался за «маузер», его успокаивала тяжелая неподвижность и холод оружия. Как бы ему хотелось слиться с этой прохладой, стать таким же холодным и равнодушным, обрести покой и недвижимость стали.

Владимир представил, как холодный металл врывается в его сердце, гася нестерпимый, пожирающий его пламень, освобождает, дарит покой, долгожданый, страстно желаемый.

Палец дрогнул, грохот выстрела разорвал перепонки, острая мгновенная боль...

Где же избавление... Где?

— Что вы наделали? Что вы наделали?

Норкочка... он уходит... гаснет... хорошо...

— Что вы стоите? Бегите, встречайте карету «Скорой помощи»! — тормозил Веронику худой незнакомый мужчина, она бессмысленно смотрела на него невидящими глазами, потом сообразила, поднялась с колен и поспешила вниз на улицу встречать доктора.

Зачем? Ведь Володя умер. Умер! Или еще не поздно, еще можно спасти?

Барон скользким, вороватым взглядом окинул комнату и незаметным движением вынул из кармана маленькую серебряную коробочку, торопливо расстегнул несколько пуговиц на рубашке распластанного на полу Маяковского и поднес к груди умирающего шкатулку.

Едва заметная теплая вспышка плеснула по полированным бокам шкатулочки.

Барон резким, уверенным движением сдернул с шеи умирающего золотую цепочку, торопливо опустил ее вместе с алым, налившимся пламенем камнем в шкатулочку и, подняв глаза, встретился с угасающим взглядом поэта.

— Вот так, — беззвучно прошептал барон, кривя губы, — проходит слава мира. Прощайте. Вы велики, как и мечтали.

Он встал, протолкался к двери, в комнату уже набились какие-то людишки, и, не оборачиваясь, поспешил вниз по лестнице.

Он успел, он все рассчитал вовремя. Как и было предсказано его предками, момент агонии всегда можно предугадать заранее. Конечно, этот мальчик оказался на редкость силен, но и его силы были небесконечны, теперь его уделом стала вечность.

В сутолоке, плаче, возгласах, суете никто не обратил внимания на исчезновение худого высокого человека в пальто. Никто его даже толком не рассмотрел и не запомнил, рассуждал барон, упруго шагая по тротуару, и теперь, теперь можно покинуть эту обезумевшую страну с ее громкими лозунгами, безумными идеями, нелепыми планами и трагическими перспективами. Да, да. Именно трагическими. Невозможно даже вообразить, что этот кровавый шабаш приведет ко всеобщему благоденствию. Нет, нет. Пора уезжать!

Барон свернул с проспекта в переулок, на всякий случай свернул во двор, небольшой, застроенный неряшливыми дровяными сараями, шмыгнул в неза-

метную щелочку между стеной и забором и выбрался в другой двор, потряхнул пальто и внезапно налетел на стену дома, с силой ударившись лбом об оголившиеся кирпичи.

— Что происх... — попытался сообразить барон, с трудом удержавшись на ногах, но получил сильнейший удар по голове и, уже падая, увидел лицо нападавшего. — Вы? Как же так? Почему? — Барон получил еще один удар по голове, и последнее слово, которое он хотел сказать, так и не слетело с его уст. — Сволочь.

А чужая, крепкая рука скользнула барону в карман и извлекла оттуда небольшую бархатную коробочку.

Часть I

ГЛАВА 1

19 апреля 1958 г. Ленинград



Зиночка? Зинуля? — стонал Афанасий Петрович, лежа в кабинете на диване и потирая рукой пылающую грудь. — Зиночка! Плохо!

— Ну что выть-то? — заглядывая в кабинет, грубо поинтересовалась Анфиса, то ли приживалка, то ли домработница. Беспардонная, нагловатая, совершенно отбившаяся от рук, но почему-то до сих пор не уволенная.

— Анфиса, где Зинаида Дмитриевна? Позови.

— Нету ее, ушедши, — сухо сообщила Анфиса, без всякой жалости взирая на страдающего Афанасия Петровича.

— Как нет? А где же она? — забеспокоился страдалец, забыв на минуту о сердце.

— Ушла.

— А куда?

— Она передо мной не отчитывается. Платье красное жоржетовое надела, цветок белый, такой большой, на плечо приколола, шляпку новую надела, и «пишите письма». Полчаса уж, как ушла.

— А что же она мне ничего не сказала? Куда же она, поздно ведь уже, скоро ужин... — еще больше заволновался Афанасий Петрович.

— А вот так тебе и надо! Нечего было на молодой жениться! — злорадно заметила Анфиса, приваливаясь к дверному косяку. — А то выдумал, седина в голову — бес в ребро! Ему бы о душе подумать, а он вертихвостку молодую в дом привел!

— Анфиса!

— Ну ничего, она тебе даст прикурить, старому греховоднику!

— Я не старый!

— Это тебе не Ниночка, святая душа! Ушла из собственного дома с одним чемоданчиком, да если бы я ей шубу да пальто и ботики не отвезла, так ведь к зиме бы голой осталась.

— Ладно прибедняться-то! Ты ей еще и одеяло атласное отвезла, и подушки, и еще бог знает что!

— Да, отвезла, потому как порядочный человек квартиру бы жене отдал, а не ее на улицу выгонял! — тут же вцепилась в него Анфиса.

— Никто ее не выгонял, сама ушла! — приподнимаясь на подушках, отчаянно защищался Афанасий Петрович.

— Ушла, потому что любила тебя, старого ирода! Как любила! — укоризненно качала головой Анфиса. — Ну ничего, Боженька, он все видит, Зинка тебе еще устроит. Кара Божия! — прогрохотала она пророчески, но взглянула на бледное, страдальчески искривленное лицо Афанасия Петровича и чуть подобрела: — Сейчас пузырь со льдом принесу.

Афанасия Анфиса недолюбливала, хотя и приходился он ей двоюродным братом. А за что любить-то?

За то, что приютил ее, когда она, оставшись совсем одна, потеряв родителей, приехала из деревни в город? Тогда она хотела сразу на завод поступать или на фабрику, а он уговорил ее по дому им помочь. Любовь Сергеевна до войны работала в райкоме, уважаемым человеком была, Петенька, сынок их, еще совсем маленький был, такой шустрый, глаза да глаза за ним, вот она у них и за няньку, и за домработницу, зря чужой кусок хлеба не ела. А потом война, эвакуация. Анфиса в госпиталь нянечкой устроилась, потом Люба умерла, потом война закончилась. Вернулись в Ленинград, живи да радуйся. Но Афанасий Петрович как с цепи сорвался.

Бабы, гулянки, что ни вечер — гости, да все один другого противнее. Как еще не спился? Петенька так расстраивался, даже плакал однажды у нее на коленях, за что папа так с маминой памятью? Анфиса его очень жалела, любила как родного, своих-то Бог не дал. А потом Петенька с Афанасием Петровичем ругаться начали. Единственный сынок, наследник, кровиночка родненькая, а отцу словно вовсе не нужен. Воспитывали его школа, комсомол, да вот она, Анфиса. А отец родной в дневник ни разу не заглянул!

Очень Анфиса на Афанасия тогда сердилась, а чем все кончилось?

Переругался с сыном вконец. Потому как не простил Петя отцу, что тот после смерти матери стал по бабам гулять, оскорблением памяти счел.

Ругались, ругались, а потом Петя собрал вещички и в общежитие переехал, он тогда как раз школу окончил и в Кораблестроительный институт поступил на инженера-конструктора. Анфиса столько слез пролила, чуть не каждый день к нему в общежитие ездила, покушать возила. Да вещички кое-какие, денег пыталась дать, не взял, гордый. Устроился по ночам вагоны разгружать. Хорошо, парень здоровый, спортсмен. А с Афанасия Петровича все как с гуся вода! Родная кровь! Единственный сын! Даже сердце не дрогнуло, сколько его Анфиса ни пилила.

А потом появилась Ниночка. В сорок девятом они расписались, под Новый год.

Какая женщина! Тихая, добрая, умница, красивая, хозяйка хорошая. А как она паразита этого любила, Афанасия Петровича? Души в нем не чаяла! Петю разыскала, хотела с отцом помирить. И ведь почти помирила, хоть раз в год по праздникам стали встречаться. Петя к Ниночке всегда относился хорошо, уважительно.

Да только и ей Афанасий крови попортил! Пил, скандалил, погуливал, хорошо, не бил, а она хоть бы слово упрека! Болел — лечила, капризы его терпела, лучший кусок за столом — ему, хвалила, рукописи перепечатывала, а ведь у нее самой образование, ведь не последний человек была, доцент! Ангельский характер был у Ниночки. И ведь моложе его была на десять лет! Жил бы старый пень да радовался, нет, старый козел! Нашел себе эту попрыгунью Зинку! А что в ней хорошего? Губки

бантиком? Ноги? Задница, которой она вертит направо и налево? Грудь колесом? Ну да. А больше-то ничего. На Афанасия она плевала, ей только и дела, что до себя. Вот когда деньги нужны, тут, конечно, подольстится. И в лысину поцелует, и на коленки заберется, а у него артрит, кряхтит старый дурень, а морда масляная. Тьфу. Ну а как денежки выманит, только ее и видели, уже по магазинам поскакала да по гостям и театрам, и все без мужа.

Бог его покарал!

Анфиса напихала в грелку лед и пошаркала обратно в кабинет.

Уйти бы, бросить этого паразита, думала Анфиса, а вот что-то не уходит. Может, жалеет? А может, привыкла. Его квартира вроде как и ей дом, другого у нее нет. А уйти в никуда, как Ниночка, увольте. Да и болеет он все больше. А на Зинку какая надежда? Пигалица бесстыжая. Она его точно в могилу раньше времени сгонит, старого дурня.

— Ну что? Не легче? — входя в кабинет, ворчливо спросила Анфиса. — На-кася, вот. Приложи грелку со льдом. Я сегодня на ужин голубцы приготовила, твои любимые. Скоро на стол буду накрывать. — Голос ее звучал добрее, ласковее, а натруженные руки мягко, по-матерински нежно поправляли воротник рубашки. — Ну, не кукусь, придет твоя Зинка, куда денется, к подружке поскакала небось, к этой, как ее? Ну, муж у нее еще в продмаге работает? К Дуське, точно.

— А может, она записку оставила, а?

— Ну да, как же, — хмыкнула Анфиса, выходя из комнаты.

«И вот как так выходит, что мужики нами, бабами, командуют и всем миром тоже? — размышляла Анфиса, накрывая на стол. — Вот взять хотя бы Афанасия, лауреат Государственной премии, заведующий литературным отделом, член партии, в президиумах заседает, а дурак дураком. Да его любая бабенка вокруг пальца обведет. Да и все они такие, кобели, прости господи. В хозяйстве ничего не смыслят, деньги тратить не умеют, да брось такого одного, что с ним будет? Помрет, одно слово. А все туда же. Щеки надувать да командовать. Охонюшки-хо-хо». И чего она, Анфиса, в начальни-ки не вышла? Образования, видно, не хватило, а так бы она им всем показала!

Анфиса так часто думала, представляла себя в платье из панбархата, с медалями на груди, во главе какого-нибудь важного совещания, вот, как сидит она и всем указы раздает да головомойки устраивает. А что, у нее бы получилось.

— Анфиса, ты ужинала?

— Нет еще, — накладывая Афанасию Петровичу голубцы, сухо ответила Анфиса.

— Присядь, поешь со мной.

— Чего это? С прислугой поужинать решил? — уколола его Анфиса.

— Ну какая ты мне прислуга? Единственный родной человек, сколько лет в одном доме живем? Любы уже нет, Нина ушла, Петя вырос, а мы с тобой все вместе. Сядь, поешь.

Анфиса подозрительно посмотрела на Афанасия Петровича, но голубцов себе положила и села напротив за стол.

— Мы, Анфиса, с тобой ровесники?

— Да вроде как.

— Ну да. Лет нам с тобой уже немало, и кто знает, сколько кому отмерено, — вздыхая печально, проговорил Афанасий Петрович. — Скажи, ты смерти не боишься?

— Чего? Никак помирать собрался? — озадаченно нахмурилась Анфиса. — Ты чего, захворал, что ли? У врача был? Обследование делал?

— Да нет. Не в том дело. Человек может и без хвори в одночасье преставиться, если ему так Господь отмерил.

— А чего это ты вдруг про Бога вспомнил?

— Да при чем тут Бог, — начал сердиться Афанасий Петрович. — И помирать я не собираюсь, а так вот, отвлеченно.

— А что отвлеченно думать? Вот помру, тогда и думать буду, а пока еще поживем, глядишь. Рано нам еще.

— Да, поживем. А за мной вроде как смерть ходит, — тихо проговорил Афанасий Петрович, жалобно глядя на Анфису.

— Это еще что за глупости? — Анфиса была женщиной простой, грубоватой и лишенной всякой фантазии. А потому страшно раздражалась, когда Афанасий Петрович начинал заводить философские беседы о смысле жизни, о величии духа и прочей ерундовине. Теперь вот смерть какую-то приплел.

— Да я серьезно. Вот, послушай. Это недели полторы назад началось. В тот день я из редакции журнала «Нева» вышел, день был больно погожий,

до дома рукой подать, вот я Корнея с машиной и отпустил. Иду по набережной Мойки, солнышку жмурюсь, настроение прекрасное, и вдруг начинаю чувствовать что-то недоброе. Вот тяжело на сердце ни с того ни с сего стало. Словно камень положили. Даже поежился, а потом стало мерещиться, что кто-то в спину смотрит, недобро так. Ну я и обернулся. А за мной метрах в десяти, а то и поболее женщина идет. Высокая, худошавая, вся в черном, и шляпка такая с вуалеткой, лица совсем не разберешь, и взглядом меня сверлит. Я тут как раз до Желябова дошел, там народу побольше, и быстренько, быстренько на другую сторону улицы и дворами к нам, на улицу Софьи Перовской, и уже когда к дому сворачивал, снова оглянулся, а она так за мной и идет.

— Эка невидаль, может, живет недалеко.

— Может. А только потом я ее еще видел. На следующий день дождь шел, я на машине ездил, а вот в среду я с утра в Дом книги решил пешком пройтись, посмотреть, как мой последний сборник стихов продается, а Корнею велел меня на Невском ждать. Иду у нас тут вдоль канала, и снова спине неуютно стало. Обернулся, опять она!

— Ну точно, живет рядом.

— А в четверг я ее видел возле Райсовета, а в субботу мы с Зиной в театр ходили в Кировский, это тебе не возле дома, — с нажимом, начиная сердиться, рассказывал Афанасий Петрович. — Так я ее после спектакля на улице видел, она нам навстречу шла, а еще в воскресенье на Петроградской, когда из гостей шли. Тоже совпадение? — все больше волновался Афанасий Петрович.